

Неприкосновенный запас. 2009. №1.

Розалия Черепанова

Безумец в маске мудреца, мудрец под маскою безумца. Случай Петра Чаадаева

Три проблемы

В отечественной историографии Чаадаев всегда выступал знаковым персонажем, олицетворяющим специфику эпохи - ее абсурдность, косность, унылость. Чаадаевский миф состоял, собственно, из нескольких сюжетных поворотов, актуализируемых в зависимости от ситуации. Главными из них были следующие.

1. Чаадаев - «западник» и либерал, вынесший суровый приговор николаевской России и, соответственно, подвергавшийся притеснениям со стороны режима.

Тот факт, что Чаадаев неоднократно просил Бенкендорфа и лично Николая I принять его на службу, на которой, по его словам, он бы мог принести реальную помощь отечеству, трактовался в рамках этого мифа как «донкихотство» или же шаг, продиктованный исключительно безденежьем[1]. Непонятно только, почему этот меркантильный Дон Кихот не принял тех предложений службы и карьеры, которые последовали в ответ на его просьбы. Они, конечно, были более скромными, чем Чаадаев рассчитывал, но нуждающемуся человеку должно быть ясно, что высокие должности с неба не падают и лучше начать с чего-то, нежели остаться вообще без всего. Чаадаев предпочел именно последний вариант.

Не выдерживают проверки и представления о суровых «гонениях» властей, обрушившихся на Чаадаева. Принудительные «осмотры» врачей с самого начала носили формальный характер. Кроме того, положение «умалишенного» рождало сочувствие к несчастному автору. Публичная же демонстрация такого сочувствия была даже сродни безобидному фрондерству, что сразу было оценено обществом, включая отдельных представителей власти. В доме Чаадаева, невзирая на дерзость и острый язык хозяина, появлялись министры, сенаторы, иностранные гости, директора департаментов, губернаторы и вице-губернаторы, генералы, цензоры, профессора и даже жандармские начальники. Запросто бывая у московского военного генерал-губернатора Арсения Закревского, сам Петр Яковлевич не только свободно занимал у него деньги, но и мог иногда выпросить льготу тому или иному лицу[2].

2. Вызвавшее столь бурную реакцию «Философическое письмо» было опубликовано без согласия автора[3].

Настойчивые попытки Петра Яковлевича, реализуемые через разных людей, пристроить свои письма к публикации были достаточно известны современникам, поэтому данный тезис тоже не выдерживает критики.

3. «Философическое письмо» получило негласную поддержку всей мыслящей части общества.

На самом деле чаадаевское сочинение «первоначально взволновало и возмутило не правительство, а общество»[4]. В Москве, писал Александр Тургенев, по поводу чаадаевского письма царило настоящее «остервенение», а студенты Московского университета даже заявили попечителю и председателю местного цензурного комитета Сергею Строганову, что готовы с оружием в руках вступить за оскорбленную Россию. Правительство просто вынуждено было ответить на ту общественную реакцию, на те напряженные ожидания, которые вызвало письмо; так что, по мнению многих современников, объявление о душевном нездоровье Чаадаева скорее призвано было спасти автора «оскорбительного» сочинения от гражданского негодования публики.

4. Чаадаев был активным общественным деятелем, важнейшей и пользовавшейся огромной известностью общественной фигурой.

На деле же Петра Яковлевича привлекали глобальные проекты, а реальная повседневная деятельность скорее отпугивала. Во всяком случае, когда уездное дворянство призывало Чаадаева к какой-либо деятельности, он «сказывался больным».

5. Наконец, сумасшествие «басманного философа» было выдуманно властями из политических соображений.

Этот сюжет, собственно, и может быть назван основным чаадаевским мифом. Чаадаев вообще уникальным образом выступает в отечественной историографии как официальный безумец, но в то же время - и как человек, ничем более, кроме мыслительной деятельности, не занимавшийся, то есть как общепризнанный мудрец.

Образ мудрого безумца (или безумного мудреца) опирается на давнюю традицию. Поскольку, действительно, мудрость по сути своей непредсказуема и необычна (чем она и отличается от банального благоразумия), то и безумие, в свою очередь, может оказаться умышленным. Оттого люди подчас не только безумцев принимают за мудрецов, но и мудрецов нередко из осторожности держат за безумцев. Кроме того, мудрец, как и безумец, выше всех правил здешнего мира, в том числе - всех норм морали. Он не обязан быть благодарным, верным, трудолюбивым, скромным и так далее; ради него переоцениваются общепринятые понятия добра и зла.

Тема «Чаадаев и безумие» включает в себе по меньшей мере три проблемы: во-первых, имеются ли реальные основания усомниться в психическом здоровье мыслителя; во-вторых, можно ли расценивать его поведение как воплощение компенсаторного жизненного сценария, как игру в безумца; и, наконец, следует ли

подозревать власть и общество в приклеивании к Чаадаеву, без всякого повода с его стороны, заведомо ложного ярлыка.

«Рюматизм» в голове

Первая проблема представляется, безусловно, самой сложной из всех. Братья Чаадаевы, Михаил и Петр, в нежном возрасте оставшиеся круглыми сиротами, воспитывались под заботливым крылом тетушки Анны Михайловны и под общим присмотром всего большого, плодovitого, просвещенного и вполне благополучного клана Щербатовых. Родственники по отцовской линии, Чаадаевы, во многих отношениях были менее благополучны. Встречались в этом роду «чудаки», люди со странностями и просто душевнобольные. Михаил Чаадаев, помимо всегдашней своей меланхолии, время от времени впадал в глубочайшие депрессии, постоянно борясь с суицидными настроениями и пытаясь забыться с помощью алкоголя. В молодости, по-видимому, он не был чужд мессианских помыслов одарить человечество некоей системой «нового мира», в чем впоследствии жестоко разочаровался. Страдал он со временем усиливавшейся боязнью людей и мучительным страхом удалиться от дома.

Петр Чаадаев еще юношей казался необычным и ярким даже на фоне «золотой молодежи» своего времени. В 14 лет он письменно хлопотал перед незнакомым ему тогда князем Сергеем Голицыным о каком-то нуждающемся, толковал со знаменитостями о предметах религии, науки, искусства. Словом, «вел себя, как обыкновенно себя не ведут молодые люди в эти годы», но как заявляют о себе люди многообещающие[5]. Сам склад его ума и речи поражал «какой-то редкостью и небывалой невиданностью, чем-то ни на кого не похожим»[6]. Признанный красавец, он восхищал свет благородством и изяществом манер. Правда, недоброжелатели указывали в нем даже на излишнюю изысканность, вплоть до чопорности и напыщенности[7]. Михаил Жихарев отмечал в своем знаменитом родственнике также сильные природные, а затем и поощряемые окружением эгоизм и «жестокое, немилосердное себялюбие».

Именно в тщеславии видел Жихарев, например, разгадку известной истории с отставкой. Напомним: Чаадаев ждал нового чина, а назначение все откладывалось. И когда потребовалось известить пребывавшего на конгрессе в Троппау императора Александра I о вспыхнувшем восстании в Семеновском полку, был послан Чаадаев, который, имея возможность уклониться от щекотливого поручения, однако, поехал. Вслед за успешно исполненным поручением последовал, наконец, и приказ о производстве во флигель-адъютанты. Но тут Петр Яковлевич, по-видимому, уязвленный долгим ожиданием, подал в отставку. Император остался крайне недовольным такой демонстрацией, и в конечном итоге не дал Чаадаеву мундира полковника, полагавшегося при увольнении. Жихарев признается, что о потерянном чине его дядюшка «имел довольно смешную слабость горевать до конца жизни, утверждая, что очень хорошо быть полковником», так как полковник - «очень звонкий чин»[8].

Гордому Чаадаеву оставалось решение «навсегда уехать из России»[9]. Летом 1823 года, разделив с братом наследство, он отправляется в заграничное путешествие, растянувшееся на три года. В путешествии этом и произошел с Петром Яковлевичем некий перелом.

Прежде всего, заострились все его прежние «странности». Нервность и чувствительность достигли крайних пределов. Страсть к одиночеству приобрела болезненный характер. Чаадаев мог месяцами уклоняться от встреч со знакомыми и избегать общества, в котором, как ему казалось, он остался непонятым и нелюбимым. Прежняя склонность к меланхолии вылилась в длительную депрессию, беспричинные страхи, ипохондрическое беспокойство о собственном здоровье. Многократно жаловался Чаадаев в письмах на приступы мигрени, головокружения, несварение желудка и геморрой, лихорадку, «рوماتизм» в голове, на какие-то странные физиологические состояния[10], на то, что был совсем плох и уже не надеялся выздороветь.

В отношениях с братом стали проскальзывать удивительные для боевого офицера инфантилизм и капризность. Например, в ответ на замечания Михаила о том, что заграничная поездка слишком затягивается и слишком дорого обходится семье в не самые лучшие для нее времена, Петр просит брата быть к нему снисходительнее с удивительным по наивности и лицемерию аргументом:

«Это нам будет обоим выгодно, вам потому, что терпимость есть добродетель, в которой весьма приятно упражняться; мне потому, что я нуждаюсь в оной».

На протяжении только одного короткого промежутка времени, узнав о высланных братом 11-ти тысячах, Петр просит прислать ему еще 19 тысяч, даже если придется продать за это в армию рекрутов:

«Не говори мне, что это пакость, грабительство! разумеется, пакость; но надеюсь вымолить у крестьян себе прощение и настоящим загладить прошедшее. Бог прощает грешных, неужто ты меня с крестьянами не простишь?»[11]

Совершенно по-детски выглядят оправдания Чаадаева, когда он заявляет:

«Я писал к вам несколько раз, что здоровье мое поправляется; я вас обманывал: насилию жил!»

«Доктор отпустил меня с тем одним условием, чтоб ехал я как можно прохладнее, то есть ночевал бы каждую ночь. [...] Поэтому должен был купить коляску»[12].

Получив желаемое, Петр Яковлевич, однако, всегда резко менял тон: на смену просительно-виноватым интонациям приходили повелительно-высокомерные: «Когда заложишь имение, припаси мне 10 или 15 тысяч, которые пришлешь по первому слову, не так, как эти деньги»[13]. Это был не просто эгоизм. Вот что отмечали современники:

«Чаадаев был всегда погружен в себя, погружен в созерцание личности своей, пребывал во внимательном прислушивании к тому, что сам скажет» (Петр Вяземский)[14].

«...этот умный и чрезвычайно образованный человек был влюблен в себя самого» (Софья Энгельгардт)[15].

«...исключительно занимался собой [...] все говорит о себе, ухаживает за самим собою» (Александр Тургенев)[16].

Психиатрическая интерлюдия

Резкие перемены поведения, от униженного смирения до властной надменности, вкупе с таким тотальным сосредоточением на собственной личности являются, на самом деле, специфическими признаками того душевного недуга, который может проявляться как в слабой форме - в виде шизоидной акцентуации личности, - так и в виде серьезного заболевания. В литературе принято определять шизоидов как «замкнутых, странных людей, поражающих [...] причудливостью и парадоксальностью своей эмоциональной жизни», «странностью одежды, мимики, речи»[17]. Нередко они демонстрируют готовность к неожиданным ассоциациям и сопоставлениям, проявляют опережающее возрастные нормы развитие мыслительных операций, но, вместе с тем, оказываются несостоятельными в фактической жизни, имеют особые трудности в установлении взаимоотношений с окружающими[18].

Если речь идет о болезни, то ее открытым проявлениям, как правило, предшествует астенический период, который длится от нескольких недель до нескольких месяцев и сопровождается повышенной утомляемостью, общей слабостью, раздражительностью, головной болью, плохим сном, чувством несобранности и неуверенности в себе, затрудненным сосредоточением мыслей, чувством какого-то внутреннего разлада. Иногда проявляются неприятные соматические ощущения в теле, при этом больные не могут их точно описать[19], но «становятся раздражительными, вспыльчивыми, нетерпеливыми, жалуются на физическую слабость». В ряде случаев имеет место «не раздражительность, а, напротив, вялость и притупление привычных интересов», «состояние подавленности, ощущение тоски и тревоги»[20]. Характерно, что в начальной стадии душевной болезни человек нередко смутно осознает непривычность своего состояния.

Петр Яковлевич, по-видимому, тоже ощущал в себе тревожные перемены. Возвращение на родину не принесло ему облегчения. Поселившись в Москве, он продолжал затворяться от всех, а в своих ежедневных прогулках, нечаянно встречаясь со знакомыми, убегал или надвигал себе на лоб шляпу, чтобы его не узнали. По его собственным словам Денису Давыдову, он в то время был близок к сумасшествию, в припадках которого покушался на собственную жизнь[21]. О мрачности и грубости Чаадаева в период 1826-1830 годов свидетельствовали Жихарев, Свербеев, Логинов; последний прямо полагал, что Петру Яковлевичу тогда грозили помешательство и маразм[22]. Умница и проницательный наблюдатель Петр Вяземский в 1830 году писал Александру Пушкину о Чаадаеве: «Мне все кажется, что он немного тронулся. Мы стараемся приглубить его и ухаживаем за ним»[23].

Выход из депрессии, от которой не могли исцелить врачи, Чаадаев искал в литературе не только медицинского, но и религиозного содержания. В числе причин терзавшей его меланхолии Чаадаева заинтересовали «гордость и тщеславие», ненасытность которых вызывает у человека беспокойство, капризы, высокомерие. Подтверждение своих подозрений о сумасшествии Чаадаев находил, в частности, у Ламенне, который называл отчаяние и тоску особым видом идиотизма. Возможно, нам станут понятнее католические симпатии Чаадаева, если мы вспомним процитированные у того же Ламенне и особо отмеченные Чаадаевым наблюдения итальянских врачей о том, что католики сходят с ума гораздо реже, чем протестанты, предпочитающие опираться на свой «свободный» рассудок.

К 1833 году в душевном состоянии Петра Яковлевича, по-видимому, наступило некоторое улучшение. Привезенный в Английский клуб чуть ли не насильно, Чаадаев встретил уважение и интерес к своей персоне. Вскоре он стал часто там бывать, получив свободу блистать эрудицией, оригинальностью ума и остротой, свойственным ему умением увидеть знакомый предмет в новом, неожиданном и непривычном свете[24]. Парадоксальность и «неправильность» отличала и письменные труды Чаадаева. В научной литературе принято объяснять такие парадоксы, во-первых, диалектической работой мысли Петра Яковлевича; во-вторых, его известным сарказмом и любовью к приему доказательства «от противного»; наконец, сложностью николаевской эпохи, ломавшей людей. Не отвергая вероятности каждой из указанных причин, хочется, однако, напомнить о еще одном возможном варианте: нарушении у Петра Яковлевича логических способностей мышления. Не случайно же Чаадаев из всех литературно-публицистических форм предпочитал форму письма, самую нестрогую, допускающую логическую прерывистость и позволяющую говорить сразу обо всем на свете, мешая эстетику, этику, политику, религию, историческую и социальную философию. В результате все названные аспекты из наследия Чаадаева действительно не просто вычлняются, зачастую противореча и друг другу, и, внутренне, самим себе. И в частных письмах Чаадаева брату мы найдем то же постоянное перескакивание с предмета на предмет, отсутствие развернутых и связных описаний.

Заметим, что характерной особенностью мышления при шизоидной патологии выступает расстройство ассоциативных процессов, выражающееся в парадоксальности ассоциаций и обобщений. Порой первоначально поставленная цель рассуждений «исчезает из поля внимания, и больной оказывается во власти наплывающих одна за другой, логически не связанных ассоциаций, но, тем не менее, речь нередко сохраняет внешне правильную форму»[25]. При этом специфический признак недуга заключается в свойственном больному «болезненном резонерстве или бесплодном мудрствовании»[26], а частыми темами рассуждений выступают «философские или еще какие-либо глобальные темы, не имеющие к больному ни малейшего отношения»[27]. У Чаадаева признаки душевного недуга, по-видимому, раз проявившись, то ослабевали, то вновь усиливались, но даже в лучшие времена никогда полностью не исчезали.

На всю дальнейшую жизнь сохранилась в мыслителе и сильнейшая ипохондрия. Во второй половине 1840-х годов он так настойчиво сообщал родным о своем возможном скором «побеге из мира» и пребывал в таком состоянии, что Алексей Хомяков предполагал у него нервическое расстройство, «очень близкое к сумасшествию». Чаадаев, переживавший тогда припадки, слабость, беспокойство, кровотечение, вновь, по словам Федора Тютчева, полагал себя умирающим и просил у всех советов и утешений. Доктора, однако, оставались глухи к его стенаниям: один прописал от «временных» и «совершенно безопасных» симптомов всего лишь успокаивающие травы и порошки, другой посоветовал совершать больше прогулок (Чаадаев принялся гулять по ночам, чтобы «приучать лицо к атмосфере»). Когда племянник и кузины уверяли его, что есть на свете люди, гораздо более несчастные, Петр Яковлевич сердился.

Забота и судьба

Очевидно, что, изображая себя больным и обиженным, Чаадаев ставил себя в центр общественного внимания и заботы. Это стремление привлечь внимание любыми средствами, вплоть до суицидных настроений, может быть связано как с психическими, так и с психологическими проблемами человека, с его персональным жизненным сценарием.

С самым неприкрытым инфантилизмом Чаадаев бежал от ответственности (в том числе и за нашумевшее «Философическое письмо») и чувства долга. Так же по-детски он не любил и не умел признавать своей вины и ошибок: в подобных случаях Петр Яковлевич, как правило, легко переходил от детских уловок-оправданий к детской же агрессии. Проявлением инфантилизма можно считать и удивительную в столь духовно развитом человеке, каким считали Чаадаева, пустоту его писем, особенно на фоне чрезвычайного значения, которое он придавал собственной внешности.

Красивую и модную наружность Чаадаева, его умение выгодно подать себя многие

современники считали важным слагаемым не только его репутации и популярности в обществе, но даже стремительного восхождения к славе. С этой манерой правильно подать себя было связано и ставшее притчей во языцех щегольство Петра Яковлевича. С годами стремление быть чистым и элегантным стало у Чаадаева навязчивым и болезненным. Даже находясь в крайне стесненных обстоятельствах, он продолжал вести образ жизни богача-аристократа: нанимал ежемесячно элегантный экипаж, покупал дюжинами самые дорогие перчатки, причем, по свидетельству Левашева, если одна пара сидела недостаточно изящно, то без колебаний выбрасывал всю дюжину.

При полной неспособности и нежелании позаботиться о своем завтрашнем дне Чаадаева отличала непоколебимая уверенность в том, что о нем, как о человеке особенном, сама собой, через посредство посланных ею людей, позаботится судьба. Все, что принималось Петром Яковлевичем, принималось им как должное, с царственным величием и соответствующей порцией поучений. Обостренно гордый, Чаадаев постоянно просил денег (у брата, кузин, просто у посторонних людей и даже, если верить его словам, у собственных слуг) и вечно жил в займы. Это обстоятельство не наносило ни малейшего ущерба его самолюбию, потому что таким образом он просто позволял о себе заботиться - сначала тетке, потом брату, потом Норовой, Шереметевой, Левашевой. Одна из всеобщих московских благодетельниц, Надежда Шереметева, рассказывая в письме зятю о делах вернувшегося из-за границы Петра Яковлевича, нашла удивительно точное определение: с ним, оказывается, нужно было «нянчиться», окружая вниманием и заботой.

«С ним стал нянчиться Михаил Александрович Салтыков. Сколько нянчился - пересказать невозможно. Когда он два года никого, решительно никого не видал, кроме брата, заперев двери, [...] в такой ипохондрии, что ничего говорить не желает, даже самой пустой книги не понимает. [...] И Михаил Александрович именно, как с маленьким ребенком, нянчился...»[28]

В связи с этим крайне показательна та, какую альтернативную психологическую компенсацию - вместо ожидаемого признания - нашел себе Петр Яковлевич после скандальной истории с «Телескопом». Пережив поначалу жесточайшее унижение и шок, Чаадаев скоро обнаружил, что доктора и власти обременяют его не слишком, зато сам он, по словам Жихарева, «в несчастии сделался предметом общей заботливости и общего внимания». Так что, поначалу растерянный, он быстро смирился со своим новым положением и даже стал находить в нем удовлетворение для своего тщеславия. И эта компенсация оказалась для Чаадаева почти столь же ценной, как и та, к которой он первоначально стремился.

При такой потребности в заботе о себе Чаадаева отличали необыкновенная холодность с близкими людьми и преимущественно негативная оценка окружающих. Показательно, что одна из преданных защитниц Петра Яковлевича -

Екатерина Левашева - в начале знакомства была неприятно поражена резкостью чаадаевских речей и только потом пришла к выводу, что перед ней не сумасшедший мечтатель, а «необыкновенный гениальный человек, добродетельный, религиозный, мудрец, наконец». Однако даже эта верная дама осмеливалась робко возражать своему кумиру, считавшему только себя умным человеком, а остальных – глупыми[29]. Несколько известных и злых чаадаевских анекдотов приводит в «Былом и думах» Герцен, видя в них критику недостатков николаевской России. Однако эти выпады, по сути, направлены против конкретных людей, сумевших добиться хорошего положения по службе. Чаадаев, обличая их реальное или надуманное ничтожество, не мог не помнить, что его собственные просьбы о службе были отвергнуты.

Ворчал же и бранился Чаадаев с молодых лет совершенно по-стариковски. По словам Свербеева, в Берне, среди русских туристов, к ужасу начальника русской миссии, к месту и не к месту ругая Россию, наш герой «обзывал Аракчеева злодеем, высшие власти, военные и гражданские, - взяточниками, дворян - подлыми холопами, духовных - невеждами, все остальное - коснеющим и пресмыкающимся в рабстве»[30].

Стареть Чаадаев действительно начал очень рано. В 1831 году Михаил отмечал, что брат его «с виду кажется совсем стариком». Примерно в то же время Александр Тургенев находил, что Петр Чаадаев очень похудел, постарел, оплешивел, но, как и прежде, опрятен до педантизма и занят исключительно собой[31]. Признаки раннего старения подчеркивали и усиливали необычность внешности: «бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора», так что «старикам и молодым было неловко с ним, не по себе; они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, [...] его язвительного снисхождения»[32].

С преждевременной старостью, ранним истощением сил, возможно, связано и известное безлюбие Чаадаева, отсутствие в его жизни сердечных привязанностей. Всегда окруженный вниманием дам и наслаждавшийся этим вниманием, он неизменно всякий раз ускользал от более близких отношений. Однако в жизни Чаадаева «не было» не только женщин; не имелось в ней и близких, душевных друзей, и крепких родственных уз. Попав в Англию после опасного морского путешествия и зная, как о нем волнуются брат и тетка, он три недели не мог принудить себя написать домой, дабы просто сообщить, что он жив; зато демонстрировал сентиментальную чувствительность, когда речь шла о «дальних», чужих людях. Так, узнав о наводнении в Петербурге, Петр писал брату: «Я плакал как ребенок, читая газеты. [...] Это горе так велико, что я было за ним позабыл свое собственное, то есть твое; но что наше горе перед этим!»[33]. «Собственное» же горе, так благородно позабытое Петром, - это весть о грядущем разорении и наступившей глубокой депрессии брата. Вскоре, жалуясь на болезни, алчность докторов, дороговизну путешествия и новые долги, Петр, как ни в чем не бывало, снова начнет просить у Михаила и тетушки денег; при этом на похороны тетки, в свое время заменившей ему мать, он не поедет, холодно заметив о ее предсмертных

мучениях: «В ее года обычно переходят от этой жизни к той безбольно; откуда же эти страдания»[34].

Трудно удержаться, чтобы снова не процитировать психиатров, описывающих применительно к шизофреническому недугу симптом «стекла и дерева» - сочетание эмоционального притупления с повышенной ранимостью, чувствительностью, душевной хрупкостью. «Больные могут быть равнодушны к горю своих родных, тяжелой утрате и печалиться, увидев растоптанный цветок или больное животное»[35].

Сколь чужими казались Петру Яковлевичу его родные, любящие его брат и тетка, столь же близким ему всю жизнь казался случайный знакомец, наполовину придуманный им, английский миссионер Чарльз Кук. После единственной их беседы Чаадаев оказался совершенно потрясенным - и чем же? Тем, что великие образцы высокого искусства не волновали англичанина, тогда как у маленьких саркофагов первых веков христианства тот останавливался с вдохновением и исступлением. Увидев в таком поведении отголосок смутно вынашиваемых уже собственных идей, Чаадаев всю оставшуюся жизнь вспоминал свой короткий разговор с Куком как откровение.

Пророческое бремя

Мимо темы откровения, говоря о Чаадаеве, пройти никак не возможно. В разные периоды жизни с разной степенью Петр Яковлевич чувствовал себя именно носителем откровения, провозвестником, пророком. Он вел себя так, словно каждое его слово, жест, движение имеют исключительную насыщенность и важность. Елизавета Щербатова передавала его мнение, что все, имеющие честь с ним переписываться, войдут в историю. Брату, прося об очередной партии денег, Петр Яковлевич заявлял: «Чем буду жить потом, не твое дело; жизнь моя и без того давно загадка»[36]. Конечно, с этой точки зрения он не мог носить дурно сидящих перчаток и пользоваться вообще чем-то не самым лучшим. По крайней мере, его манера подавать себя была явно пророческой. По выражению Вяземского, «он хотел быть основателем чего-то»[37]. Анастасия Якушкина писала мужу:

«Пьер Чаадаев провел у нас целый вечер. Мне кажется, что он хочет меня обратить. [...] Ежеминутно он закрывает себе лицо, выпрямляется, не слышит того, что ему говорят, а потом, как бы по вдохновению, начинает говорить. Маменька слушает его с раскрытым ртом и повторяет вслед за Мольером: “О великий человек”, а я говорю потихоньку: “Бедный человек”»[38].

Как пророк, он жаждал признания, искал свою аудиторию и находил ее в податливых, отзывчивых женских сердцах скорее, чем в мужских. Подобно многим неудовлетворенным пророкам, Чаадаев активно пробовал свою власть над

поклонницами и поклонниками даже в бытовом плане. Михаил Салтыков упрекал Чаадаева в том, что «дружба» с кем-то означает для него бесконечное восхищение и снисходительность, требуемые им в свой адрес, при собственных диктаторских замашках, навязчивом «зуде проповеди», неуважении к личностям других людей и постоянном стремлении переложить на них собственные обязанности и заботы[39].

В этом отношении для Чаадаева характерен довольно типичный контраст между проповедуемыми ценностями и собственным реальным поведением. Будучи мотом, он с искренним пафосом призывал состоятельных людей отречься от своих богатств и раздать их бедным («Воскресная беседа сельского священника...»), гордый, эгоистичный и тщеславный - проповедовал смирение и альтруистическую любовь. Наконец, в числе «странностей» чаадаевского поведения не может не броситься в глаза то, как легко Чаадаев пасовал перед властями, как по-детски терялся от любого твердого отпора, проявляя удивительное малодушие, граничащее с безнравственностью. Как будто ребенок в нем так и не вырос до полноценного исполнения роли взрослого.

В самом деле, безжалостно и тиранически паразитируя на мягкосердечии, Чаадаев не умел всерьез спорить с силой: отказать модным докторам, разорявшим его лжелечением; лавочникам, бравшим с него втридорога; собственному камердинеру. Его «недостойное» поведение после публикации «Философического письма» было бы недостойным для взрослого, но для ребенка, вызвавшего гнев родителя (в лице власти), то была всего лишь естественная защитная реакция. Так, после проведенного у Чаадаева обыска он сам срочно взял у переписчика и у «знакомой дамы» две своих работы и по собственной инициативе представил их жандармскому полковнику Брянчанинову, проводившему обыск. Вот как, согласно донесению генерала Перфильева Бенкендорфу, Чаадаев реагировал на известное правительственное предписание:

«[Он] смутился, чрезвычайно побледнел, слезы брызнули из глаз, и не мог выговорить слова. Наконец, собравшись с силами, трепещущим голосом сказал: “Справедливо, совершенно справедливо”, - объявляя, что действительно в то время, как сочинял сии письма, был болен и тогда образ жизни и мыслей имел противный настоящим...»[40]

О сходном поведении Чаадаева в те дни свидетельствовал и Сергей Строганов.

Совершенно по-детски, а вовсе не как мудрец, ведущий за собой преданную паству, поступил Чаадаев и с несчастным адресатом скандального письма - Екатериной Пановой, - сделав два письменных добровольных заявления на грани доноса московскому обер-полицейстеру Цынскому[41]. И дело тут, как представляется, не в недостатке чести и не в трусости - не боялся же Чаадаев смотреть в лицо смерти, участвуя в военных кампаниях. Скорее, здесь имел место практицизм самосохранения: пророк, посланный с высокой миссией, не имел права

так глупо рисковать собой - он должен был беречь себя ради спасения мира.

Однако пророка не признали. Сам Чаадаев, намекая на свою судьбу, писал:

«Мир его не принял, и он не принял мира. Он имел наивность думать, что хоть как-нибудь подхватят мысль, которую он провозглашал, что его жертвы, его муки не пройдут незамеченными, что кто-нибудь из вас соберет то, что он с такой щедростью расточал. Безумие, конечно [...] А кто знает, кем бы он стал, если бы вы не преградили ему пути? Быть может, потоком, смывающим нечистоты, под которыми вы погребены? Быть может, мечом, рассекающим сковывающие вас цепи?»[42]

Итак, возвращаемся к трем проблемам, поставленным в начале статьи. Перед нами - не только реальное душевное нездоровье, но и отчасти игра в него, то, что лежит на грани безумия, игрового и реального. Непризанному пророку оставалась только роль признанного безумца. Но если реальное душевное нездоровье разворачивалось в бытовом, повседневном плане и касалось самых обыденных вещей, то сценарное безумие выражалось высокой позой: многолетним и демонстративным стоянием «сложив руки, где-нибудь у колонны [...] воплощенным вето, живой протестацией»[43], дерзкими и злыми насмешками (которые ему обычно прощались). По свидетельству Софьи Энгельгардт, он любил приговаривать не без удовольствия: «Мое блестящее безумие»[44].

Чаадаев - фигура действительно трагическая, но в ином смысле, чем это преподносил «либерально-демократический» - от Герцена с Плехановым до советской историографии - миф. Чтобы почувствовать этот трагизм, вслушайтесь в слова Петра Бартенева:

«Смешно было слышать, как этот старик неустанно твердил о своей истории с “Философическими письмами”. Еще за несколько дней до кончины, поглаживая свой почти совершенно голый череп, в сотый раз сказал он мне, что по исследованию докторов и френологов голова у него устроена так, что повреждение ума невозможно»[45].

1) Лебедев А.А. Чаадаев. М.: Молодая гвардия, 1965. С. 133.

2) Тарасов Б. Чаадаев. М.: Молодая гвардия, 1986. С. 425.

3) Гершензон М.О. Чаадаев. М.: Антиква, 2000. С. 150-151.

- 4) Тарасов Б. Указ. соч. С. 306, 311.
- 5) Жихарев М.И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество тридцатых годов XIX века: люди и идеи. Мемуары современников. М.: МГУ, 1989. С. 56.
- 6) Там же. С. 55.
- 7) Там же. С. 57.
- 8) Там же. С. 80.
- 9) Лебедев А.А. Указ. соч. С. 265.
- 10) «...то запор, то понос, то насилие таскаешь ноги, то бегаешь как бешеный с тоски; сверх того случаются разные пароксизмы, припадки, от которых приходишь в совершенное расслабление...», «голова кружится день и ночь, и желудок не варит...» (Тарасов Б. Указ. соч. С. 129, 130, 131).
- 11) Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений: В 2 т. М.: Наука, 1991. Т. 2. С. 44.
- 12) Там же. С. 45, 46.
- 13) Там же. С. 43.
- 14) Цит. по: Тарасов Б. Указ. соч. С. 274.
- 15) Цит. по: Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 791.
- 16) Цит. по: Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 2. С. 308.
- 17) Семке В.Я., Судаков В.Н., Свердлов Л.С. Ипохондрические состояния в общесоматической практике. Томск: Томский государственный университет, 1991. С. 24.
- 18) Критская В.П. и др. Патология психической деятельности при шизофрении: Мотивация, общение, познание. М.: МГУ, 1991. С. 37.
- 19) Ранняя диагностика психических заболеваний / Под ред. В. Блейхера, Г. Воронкова, В. Иванова. Киев: Здоровье, 1989. С. 39.
- 20) Портнов А.А., Федоров Д.Д. Учебник психиатрии. М.: Медицина, 1960. С. 249.
- 21) Тарасов Б. Указ. соч. С. 195.
- 22) См.: Вестник Европы. 1871. Сентябрь. С. 15; Русский Вестник. 1862. Ноябрь. С. 141.
- 23) Цит. по: Тарасов Б. Указ. соч. С. 251.
- 24) Жихарев М.И. Указ. соч. С. 89.
- 25) Портнов А.А., Федоров Д.Д. Указ. соч. С. 252.
- 26) Там же С. 251.
- 27) Еникеева Д.Д. Пограничные состояния у детей и подростков. М.: Академия,

1998. С. 270.

28) Тарасов Б. Указ. соч. С. 222.

29) Там же. С. 256, 257.

30) Там же. С. 105.

31) Там же. С. 237, 247.

32) Герцен А.И. Былое и думы. М.: Правда, 1983. Т. 2. С. 133.

33) Цит. по: Тарасов Б. Указ. соч. С. 110.

34) Там же. С.427.

35) Еникеева Д.Д. Указ. соч. С. 266.

36) Цит. по: Тарасов Б. Указ. соч. С. 405, 439, 431.

37) Там же. С. 274.

38) Цит. по: Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 2. С. 306.

39) См.: Тарасов Б. Указ. соч. С. 224.

40) Там же. С. 312, 314.

41) Там же. С. 316, 317.

42) Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 499.

43) Герцен А.И. Указ. соч. С. 133.

44) Цит. по: Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 791.

45) Там же. С. 794.